

## Вячеслав Нескоромных

# Старая прялка

*Как это странно всегда:  
Вроде бы взрослые люди,  
А в голове ерунда,  
Мечтаем, как дети, о чуде.*  
Автор и певец Трофим

Эта история свершилась со мной ровно под Новый год. Накручивая круги в темноте и стылости прогулки одного из последних в году вечеров, вдруг заметил в снегу странную, явно очень древнюю и совершенно уже ненужную в быту конструкцию. Поднял брошенную несуряжицу, не понимая совсем, для чего это я делаю, и отметил, что это нечто напоминающее обломки деревянного колеса с резными спицами.

Колесом назвать эту неказистую конструкцию было уже нельзя, ибо в ней многих деталей не доставало, другие были изломаны: из центрального деревянного диска с кованой стальной ручкой и квадратной осью торчали ломаные и сохранившиеся спицы, являя миру образ то ли убогой снежинки, то ли чьей-то изломанной судьбы. Тем не менее включилась фантазия, и я тут же представил, что это обломки далёкого кораблекрушения и останки выброшенного на берег фрегата, а валяющаяся в снегу вещица — очевидно, изувеченный штормами штурвал этого бедового, лишённого везения корабля, заселённого когда-то полупьяными пиратами. Подобная фантастическая картина у меня рождается часто как следствие того, что малые свои года провёл я на берегу великого океана, по некоторой нелепой случайности названного Тихим. Бурный нрав великого, как Космос, водоёма проявлялся в том, что ежедневно на берег выбрасывалось огромное число всяческих останков человеческой деятельности, в его попытках как-то приручить и обуздать громадину: можно было найти обрывки ядовито-цветных капроновых сетей с яркими стеклянными, пластиковыми поплавками самых разных форм, бутылки и банки из-под неведомых нам напитков, обломки со остатками надписей и даже один целёхонький спасательный круг с замысловатыми иероглифами по периметру. С тех пор я грезил далёкими путешествиями, и воображение рисовало странствия, огромные океанские валы, столь безжалостные к хлипким судёнышкам. Начитавшись о бутылках

с вложенными записками о бедствиях и крушениях, я исправно заглядывал в найденные сосуды тёмного стекла, рассчитывая найти весточки с другого края планеты и океана, заранее сочиняя замысловатый текст сдержанного крика о помощи.

Конечно, на штурвал сломанная и найденная мной вещь не тянула — была хлипковата, но в ней сразу узнавалось изделие мастера столетней, а может, и двухсотлетней давности. Я мало того что фантазёр, так ещё и рукастый — от деда моего досталась тяга к деревянным делам: мимо изделий из дерева, фигурок всяких резных пройти мимо не могу, так и тянет потрогать, присмотреться, да я и сам всё время что-то строгаю и клею. Поднял, не мешкая, не доломанную временем до конца вещицу и, уже ругая тех, кто сломал и выбросил раритет, потащил к себе.

Перед лифтом в ярко освещённом помещении подобранная вещица смотрелась уже совсем не презентабельно, а неведомо откуда взявшаяся старушонка в вязаном платке, стоптанных старых сапогах и бесформенной шубейке неведомого кроя отметила, что такую вещицу она якобы помнит — крутила в детстве и в молодости, забавляясь с прялкой. Точно, это колесо от прялки — осенило и меня наконец. Как любая очень старая вещь, побывав во многих заинтересованных в ней руках, деревянная эта конструкция питала энергией и знанием, которое рождается невольно из анализа множество раз пережитого теми кто держал её в натруженных руках, долгими зимними вечерами вращал и лелеял. Так и я уже держал цепко эту вещицу, ощущая, что рокового шага к мусоропроводу я точно не сделаю, а подумаю, как эту недоломанность превратить в этакую завершёнку, годную для чего-то вещь.

Присмотрелся к старушке, маленькой и сухенькой такой, что более походила на подвыдшего подростка, и что-то знакомое и далёкое стало всплывать в памяти, разглаживая в воображении глубокие морщины и улавливая знакомые черты лица и улыбку застенчивую, но подошедший лифт отменил воспоминания. Я отвлёкся, а войдя в лифт, отметил, что старушка куда-то пропала, словно и не было её вовсе ещё минуту назад рядышком.

Дома подивились на мою «добычу», но, зная мою странность, махнули молча рукой. И я взялся

колдовать над находкой, чтобы привести в достойный и интересный вид. Почистил старательно от вековой копоти наждачной бумагой разобранные части, собрал вновь уже с клеем и взялся ворошить воображение на предмет некоего смысла, хоть и потаённого, но здравого, который я бы мог вложить в находку. Сложилось в воображении, что вещица старая и оттого повелевает временем, ибо прясть шерсть—это процесс формирования нити, протяжённость которой сродни времени, и сотканная из отдельных волосков нить эта собирает заветный и неясный смысл концентрации временных субстанций.

От такой формулировки заболела слегка голова, но когда наваждение прошло, понял, что смыслом уловлен верный. И тут я вспомнил о привезённых из разных мест всяческих вещицах-безделушках: это и ракушки с Балтики и берега Чёрного моря, и конский каштан и причудливые по форме алтайские орехи из Белокурихи, и странные фигурки старичков, прикупленные на базарчиках в Ереване и Тбилиси, и неведомые сибиряку жёлуди, собранные у векового дуба в Ясной Поляне. Ассоциации вели меня по едва заметной тропинке к цели на ощупь, словно бредёшь по снежному полю, по заметной свежим снегом тропинке и постоянно теряешь её, но вновь находишь натоптанную ранее твердь верного смысла. И вот, соединив всё это как символы времени и плоды его, отметил, что смотрится замысловато и притягивает взор. В голову пришла формула: витки спирали ракушек—замысловатые сужающиеся круги—уплотняются силами сконцентрированной временной субстанции, укорачивают временные интервалы, ступая, усиливая эффект времени, а время—это колесо, что вращается, не отвякаясь на остановки, не считаясь ни с чем и ни с кем, определяя бесстрастно единственный суд и врачебную волю Мироздания.

Довольный эффектом, украсив полученную мной спираль и модель времени, в которой плоды соседствуют с мудростью, а мудрость—с ползущими моллюсками-ракушками, панцири которых и есть суть сужающего витками спирали пространства для каждого индивидуума, водрузил конструкцию на стене, решив, что она должна вращаться на стальной оси, которая проработала десятки, может, и сотню лет и теперь почётным образом будет символизировать вращение временного круга.—Этакий Круг славянского Круголёта,—отметил вдруг тесть, понаблюдав над моими завершающимися процессом созидания усилиями.

—Время рождает и питает, время и убивает,—стал поспешно, смутившись, объяснять я смысл выстраиваемой конструкции.—В моей конструкции питающие плоды временные всполохи завершаются плодами,—продолжил я, отметив интерес родственника к моим фантазиям,—а угасшие,

изломанные спицы оканчиваются ракушками—как символы свернувшегося времени, как символы кончины и угасания.

—Чудак,—отметил тесть сухо, но улыбка и задумчивость глаз подсказали, что ему идея глянулась и, как говорят молодые нынче, «зашла».

Потоптавшись ещё несколько рядом, тесть тихо-нечко, как и вошёл, удалился.

Дело было закончено, и я на пробу крутанул колесо старой прялки. То, что произошло далее, можно было пережить, только имея огромный запас оптимизма и юмора: я вдруг уменьшился в размерах и оказался ниже кухонного стола, над которым и повесил результат своего художественного промысла. Я ухватил край стола и попытался заглянуть на поверхность столешницы, чтобы убедиться, что всё происходящее вполне реально. Я вдруг вспомнил, что это я делал постоянно в детстве, когда, спустившись утром, сонным ещё, с растопленной с утра бабушкой и уже горячей, обжигающей бока печи, смотрел, чем можно было бы перекусить с утра: на столе уже стояли то ароматные оладушки, то печёные ватрушки. Вижу вдруг и не удивляюсь: рядом со мной вновь появилась та самая бабуля, что я встретил у лифта, но уже в стареньком потрёпанном халатике,—и теперь, глядя на неё уже снизу вверх, я узнаю в ней свою родную Марфу Васильевну, которую звал мамой до восьми лет—того возраста, пока жил в доме бабушки и бабушки в далёкой сибирской деревне на берегу сноровистой по весне речушки Суетки.

Бабушка стояла рядом и смотрела на меня сверху вниз, а я, как когда-то, на неё—снизу.

—Не суетись, сынок,—напутствовала, как и тогда, меня бабушка, и я увидел, что у неё совсем уже нет зубов, как в последнюю нашу с ней встречу, когда я приехал в год её кончины в период студенческих каникул.

Но теперь я был даже и не школьник—таким маленьким и тщедушным я казался сам себе.

—Крутишь неосторожно вперёд—неизвестно где окажешься, сынок. А вдруг и вовсе сгинешь,—добавила нараспев бабушка и так знакомо улыбнулась мне, что сомнений быть не могло: это она.

Вдруг вспомнилось, как, вернувшись из сельпо, протягивала мне мятый бумажный кулёк, я тянулся за ним, а бабушка, смеясь, показывала, что отсыплет мне в ладошки немного, а остальное спрячет. Я конфузился и подставлял свои ладони, и в них ложились несколько—такие простецкие конфеты без обёртки, в сахаре, бледно-розовые и голубые подушечки. А порой вдруг бабушка, загадочно посмеиваясь, доставала из кармана кофты пару воистину драгоценных «Мишка на Севере». Откуда вот она их брала в этой глухомани сибирской, было непонятно, но для меня это был не просто праздник—был восторг. Вот только

вдруг вспомнил, что ни разу я с бабулей своей не поделился. Я над этим думал и ранее, и, помнится, приехал двадцатилетним увальнем-студентом и привёз с геологической практики из тайги увесистый мешочек кедрового ореха, и мы чинно сидели с бабулей на лавке у калитки, и я ей надкусывал скорлупу и кормил вкусным таёжным угощением. Бабушка шамкала, как могла, беззубым ртом и блаженно улыбалась. Понимаю теперь, что улыбалась она мне и моему к ней вниманию, а не редкостному в степных краях ореху.

Я аккуратно взялся крутить колесо прядки вперёд, и вскоре я уже шагал с дедом по школьному коридору, и приятель деда—директор школы, поглядывая на меня, убеждал деда, что мал я ещё для школы.

— Иван Тихонович, пусть гуляет ещё годок—пацану детства добавим.

Дед не спорил, а, глянув на меня, только качнул головой, что значило: «А чего я тебе говорил?» И добавил:

— Пусть твои сёстры идут в школу—они постарше, а ты, браток, погуляй ещё.

И вспомнил деда—стройный такой, в галифе и хромовых сапогах со скрипом, в пиджаке, и серебряная цепочка часов из нагрудного кармана свисает, напоминая также о быстротечном времени, что у деда было как бы «на привязи».

Я улыбнулся деду и крутнул снова тихонечко свой Круголёт—такими сладостными стали воспоминания о стариках моих, но оказался я вдруг среди вагаги пацанов уже на Камчатке, и мы гарпунили рыбу на нересте. Вся ширь речки была покрыта тёмными и красными спинами рвущихся в верховья рыбин, а мы бродили по колено в воде и среди этих неистовых тел, что толкались увесисто нам в ноги, не обращая на нас ровно никакого внимания, выискивали тех, что с икрой.

— Гарпунь с ровной, не крючковатой мордой!—кричал друг Вовка, ловко вываживая очередного гиганта из воды.

Далее уже был Байкал, и я, юный студент, бегу вдоль воды, чистойшей и отражающей сияние солнца, потом вижу ту—первую свою в жизни любовь, с распушенными по плечам каштановыми волосами, смеющуюся и такую красивую, и понимаю, что люблю её до сих пор, хотя и расстались мы тогда в суматохе юности, её необъяснимых порывов и стремлений, каких-то мной придуманных обид и наших общих недосказанностей.

Вот так передо мной чередой проходила моя жизнь и её яркие вехи, но я ничего не мог изменить. Жизнь пролетала передо мной, как пассажирский скорый поезд в вечерних сумерках пролетает через полустанок, когда видишь через незашторенные

окна всё, что происходит с пассажирами экспресса. Я увидел, как в первый раз, свою новорождённую, а ныне взрослую дочь, такую маленькую и такую красивую, и рядом такую весёлую и гордую—и несколько всё же смущённую жену, и вспомнились мелкие, самые незначительные детали того знаменательного события. Далее летели кадры, на которых уже дочь с огромным животом, в котором до поры пребывал мой внук, и наша с ней поездка на Байкал, и многие сокровенные слова, что мы сказали друг другу. Я видел немногочисленных своих друзей, с которыми очень давно знаком, и многое им доверил, и ещё более получил от них. Я ощутил вновь удовлетворение и даже огромный подъём сил от многих, но столь быстротечных часов творчества. Удивительно, но помнил я всё, что создавал и придумывал, мастерил и вынашивал в своей голове. Меня вновь поражали те озарения и открытия, которые я делал, передвигаясь вперёд в постижении смыслов жизни и своего дела. Я был подобен скалолазу, что тянет жилы, вытягивает упругой струной скелет и складывается жёсткой пружиной, чтобы сделать новый рывок к вершине.

Жизнь текла, и скоро был виден тот рубеж, когда я должен был стать самим собой. Когда это случилось, торкнуло в груди до боли, и тут только я обратил внимание, что бабушки уже со мной нет. Защемило снова в груди, вдруг я понял, что давно уже катятся слёзы из глаз потоком и я толком из-за этого ничего не вижу.

В бессилии я присел. И задумался над тем, что нам остаётся по истечении времени, в котором мы существовали, творили, потребляли, брали и отдавали. Мы бьёмся за благополучие, признание, а запоминается нам другое—некие эмоциональные взлёты, когда мы меняемся и растём душою. Помнится нам всю жизнь, например, как молодой, красивый папа, которого уже нет на свете, играет с вами в догоняшки, а вы истерично смеётесь, убегая и кутаясь головой в мамину юбку. А потом папа напеваает, а вы все трое, подтянув к себе и смеющуюся маму, обнявшись крепко, кружитесь под напев:

На ковре из жёлтых листьев, в платьице простом  
Из подаренного ветром крепдешина,  
Танцевала в подворотне осень вальс-бостон...

И хриплый мощный голос совершенно лысого, прямо скажем—не красавца, исполнителя с вислыми прокуренными усами, на которого тем не менее хотелось смотреть во все глаза, ибо рождённая им энергия колыхала душу, и в старом шкафу фужер на стеклянной полочке и тот позванивал, как далёкие колокола на старенькой церквушке. Звенела и душа, улетающая ввысь, чтобы непременно вернуться сильной и просветлённой.